ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

П. Л. ТУЧАПСКИЙ

Из пережитого

ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ



Государственное Издательство Украины

Одесса—1923

Р. Ц. (Одесса) № 1471. 1-я Госуд. тип., Стурдзовский пер. № 3-а.
Заказ № 1266 — 2000 экз.



СОДЕРЖАНИЕ

Павел Лукич Тучапский

(Краткий биографический очерк)

Отрывки из воспоминаний П. Л. Тучапского относятся к интереснейшей эпохе зарождения Российской Социал-Демократической Партии на основе начавшего мощно развиваться рабочего движения. Часть этих воспоминаний под заглавием „Первые встречи", правда, в несколько другой обработке была напечатана в 1918 г. в Одесском „Южном Рабочем". В цельном же виде они появляются сейчас, к сожалению, уже после смерти автора.

Павел Лукич был одним из пионеров российского рабочего движения, одним из основателей РСДРП, одним из девяти участников ее учредительного съезда. История жизни и деятельности Тучапского и в этот ранний период и позже представляет крупный интерес для истории партии и рабочего движения. К сожалению, в нашем распоряжении нет таких матерьялов, которые позволили бы дать сколько-нибудь полную биографию П. Л. Поэтому мы вынуждены ограничиться беглым очерком, вернее даже, перечнем важнейших моментов и этапов жизни Тучапского. Все же нам, быть может, удастся, хотя бы в самых общих чертах, нарисо-

вать светлый образ одного из перзых марксистов, претворивших теорию в практику, в социал-демократию, как средство и путь борьбы пролетариата за революцию и социализм. Этот образ достаточно ярко вырисовывается и непосредственно при чтении предлагаемых воспоминаний, несмотря на всю скромность их автора, сквозящую в каждой строке и столь характерную для П. Л. на протяжении всей его жизни.

Павел Лукич Тучапский—сын священника, родился 15 января 1869 г. в селе Беседка Таращанского уезда Киевской губернии. Среднее образование он получил в Киеве в „Коллегии Павла Галагана", затем поступил на историко-филологический факультет *) Киевского университета, и окончил его в 1893 г. После этого он в Киеве же поступает на юридический факультет,—но вскоре университетская карьера Тучапского прерывается, и уже навсегда, арестами и ссылками.

У П. Л. были все задатки крупного ученого, он предназначался к оставлению при университете для подготовки к профессорскому званию.

По словам проф. Покровского, из Тучапского при подходящих условиях мог бы выработаться редкий историк. Действительно, перу П. Л. принадлежит ряд ценных научных работ наряду с работами публицистическими. Но специалистом историком П. Л. не сделался. Ибо рядом с задатками ученого были в нем еще более сильные задатки политического борца. Сама наука нужна была ему прежде всего для того, чтобы уяснить себе пути борьбы,—и затем, как орудие в этой борьбе.

Первые шаги П. Л. в политике относятся к началу 90-х годов, еще в бытность его студентом. Эти первые шаги были сделаны в украинских кружках. Сначала

*) Сначала, впрочем, пробыл год на медицинском.

ла Тучапский—„культурник“, потом, неудовлетворенный бездеятельностью „культурников“, их практической и политической бессодержательностью, он переходит к „драгомановцам“. Но и тут П. Л. не находит удовлетворения. Воспоминания „из пережитого“ вдумчиво рисуют всю эту чрезвычайно любопытную эволюцию юноши Тучапского, и мы не будем повторять здесь того, что читатель найдет в написанных самим П. Л. отрывках.

Из „драгомановства“ П. Л. извлек, благодаря аналитическому уму и революционному темпераменту, ряд идеологических моментов, приблизивших его к пониманию борьбы классов, как основы исторических движений и революционной борьбы,—моментов, приближавших его к восприятию марксизма.

В 1893 г. П. Л. уже марксист, и с этого времени он не только изучает, но и распространяет марксистские идеи. Но не сразу удается ему перейти к практической работе среди рабочих. В 1893 г. Тучапский приговаривается к 3-месячному тюремному заключению в Киеве по делу о найденной у него украинской (драгомановской) литературе, затем отбывает воинскую повинность в Виннице, находясь „под надзором“. С осени 1895 г. он — помощник секретаря губернской земской управы в Полтаве, где участвует в дискуссиях и спорах марксистов и народников. Только в 1896 г., возвратившись в Киев и вступив в соц.-дем. группу „Рабочее Дело“, П. Л. переходит к кипучей практической работе, к непосредственной деятельности в рабочей среде. О группе „Рабочего Дела“ и „Рабочей Газеты“, о своем участии в их работе и в съезде 1—3 марта 1898 г. в Минске, основавшем РСДРП, Тучапский и рассказывает подробно в III-й главе воспоминаний,— для нас самой интересной.

Через несколько дней по возвращении со съезда П. Л. Тучапский был арестован при разгроме Киевской соц-дем. организации (12 марта 1898 г.). В марте 1900 г. он был, по приговору царского правительства, отправлен административным порядком в ссылку на 4 года. В ссылке, в Вологодской губернии, П. Л. работает по статистике. Там же им опубликованы—прекрасное, по отзывам специалистов, статистико-экономическое описание Вологодского края и ряд статей в столичных газетах. После ссылки П. Л. уезжает в 1905 г. заграницу —в Львов, где по поручению Украинской с. д. „Спілкі", одним из основателей которой он был, издает газету „Правда" сначала на одном украинском, а затем на украинском и русском языках. Там же им издана брошюра „Хто такі соціал-демократи". Впоследствии (1918 г.) он выпустил брошюру на ту же тему на русском языке.

С 1907 г. П. Л. Тучапский поселяется в Одессе, где преподает историю и др. предметы в нескольких средне-уч. заведениях, не оставляя в то же время ни революционной, ни литературной работы.

Свою литературную деятельность П. Л. начал еще в 1893 г. в заграничных изданиях драгомановцев, а затем участвовал в „Рабочей Газете" и в ряде социал-демократических нелегальных изданий*). В бурную эпоху 1905 и последующие годы П. Л. писал не мало. За брошюру „Что такое рабочая партия", изданную под псевдонимом Михайлова в 1910 г., Тучапский был присужден царским судом в Петербурге к 2 месяцам крепости,—столь милостивый приговор объяснялся тем, что, по сведениям жандармов, брошюра, изданная „Знанием", не получила распространения.

После раскола РСДРП, на II съезде (в 1903 году) Тучапский примкнул к фракции большевиков. В 1906 г.

*) „Вперед" и др.

когда проектировалось издание в России большой популярной большевистской рабочей газеты, намечалось ближайшее участие П. Л. Тучапского в ее редактировании. Издание это, однако, расстроилось.

В период отлива революционной волны, в годы, последовавшие после крушения революции 1905—6 гг., у Тучапского, пережившего ряд разочарований, возникают расхождения с большевистской фракцией РСДРП, и он отходит от нее. Мы затрудняемся точно определить момент этого разрыва,--вернее всего отнести его, приблизительно, к 1910 году. Вместе с тем Тучапский временно отходит от активной политической работы.

Революция 1917 г. застает Тучапского в рядах меньшевиков. В 1917 г. он редактирует в Одессе газету „Южный Рабочий" и много пишет, затем он в 1918 г. один из редакторов той же газеты, участник известного процесса „Южного Рабочего". В том же году он выпускает брошюру „Национальный вопрос". В эти же годы П. Л. неоднократно избирается на различные съезды и конференции, где выступает в качестве докладчика по различным вопросам, в особенности, по национальному, освещая пути его разрешения в России с точки зрения интересов революционного движения. Тучапский неустанно боролся с национальным шовинизмом: великороссийским, украинским и т. д. читал лекции в народном университете на фабриках и заводах и т. д.

Последние годы, — с 1918-19 гг., — расшатанное здоровье (прогрессировавшая болезнь сердца) сильно отразилось на работе П. Л. Тучапского, и от активной деятельности, он отошел. П. Л., сильно нуждаясь, коекак перебивался службой в Губсоюзе. В 1921 - 22 гг. он был председателем совета старых революционеров при комиссии по изучению революционных архивов (при Од. Губюротделе). С особым вниманием изучал

он в этих архивах дела об украинском движении и австрийском шпионаже, составил экстракт мелких дел „об оскорблении величества“ в начале 80-х гг. и участвовал в собраниях, посвященных истории революционного движения. Последним публичным выступлением П. Л. была речь на утреннике в зале Од. Губпрофсовета, посвященном памяти народовольцев (1—14 марта).

В 1921 г. Тучапский был приглашен Украинской Академией Наук в Киеве на пост библиотекаря Академии и покинул Одессу—навсегда. В Киеве он продолжал сильно нуждаться, а болезнь сердца мешала работе, даже литературной. Последние месяцы своей жизни П. Л. почти все время провел прикованным к постели болезнью сердца, которая и свела его в конце концов в могилу. Тем не менее он не прекращал литературной работы даже и тогда и составил для „Биографичного словника“ биографии Аксельрода и Аменбреннера, а для „Энциклопед. словника“ биографии тех же двух деятелей и Адашева.

4 июля 1922 г. Павел Лукич Тучапский скончался в Киеве и 5 июля там же погребен. Ему было 54 года.

Оставленное Тучапским литературное наследие значительно и разнообразно: он интересовался всеми сторонами жизни, отдавая свои силы изучению и разработке ряда вопросов. Мы не имеем сейчас возможности перечислить даже важнейшие литературные работы покойного.

В литературном наследстве П. Л. Тучапского, кроме уже названных работ, находится очень хорошая брошюра о Герцене, изданная в Одессе Центросоюзом, затем большая статья о положении евреев в России при Иване III, напечатанная в „Записках Одесского Общества Истории и Древностей“, статья о Драгоманове в Украинской газете „Правда“; им составлена Хресто-

матия по истории революционного движения в России в 60-х и 70-х годах. Тучапский хорошо знал немецкий язык. Ему принадлежат вышедшие в свет переводы „Очерков по истории немецкой социал-демократии“ Ф. Меринга, посмертных работ Маркса, „Нового“ учения о государстве“ А. Менгера и пр. Остался после П. Л. и ряд не напечатанных работ,—в том числе две большие статьи на украинском языке о Драгоманове, предназначавшиеся для проектировавшегося в Одессе, но не вышедшего сборника памяти М. П. Драгоманова (П. Л. неоднократно собирался написать исчерпывающую биографию Драгоманова). В 1920 г. в Одессе под руководством Тучапского выработаны программы преподавания в трудовой школе русско-украинской и всеобщей истории, истории труда и политической экономии.

В лице П. Л. Тучапского сошел в могилу не только один из первых российских марксистов и основоположников революционной социал-демократии, но и один из самых преданных рабочему делу революционеров. Последние годы своей жизни он отошел от рабочих масс и их настроений, он оказался несколько в стороне от их борьбы и строительства новой жизни, он разошелся с коммунистической партией, в авангарде борьбы стяжавшей доверие и поддержку пролетариата,—все это, однако, не умаляет больших исторических заслуг покойного перед рабочим классом и революцией.

Он был одним из первых людей, уразумевших еще в 90-ых годах, что революция в России победит только как рабочая революция. Подготовке этой революции он отдал лучшие свои силы, лучшие годы своей нелегкой жизни, полной испытаний и невзгод. Памяти пионера и борца за рабочее дело революционный пролетариат воздаст заслуженную дань.

Материалом для настоящей биографической справки послужили, помимо данных, имевшихся у меня, также сведения, сообщенные женой покойного М. С. Тучапской, В. М. Коробковым, А. А. Суховым и М. Е. Слабченко, и, наконец, небольшая и, как всегда, до нельзя скромная автобиографическая справка, сделанная самим П. Л. Тучапским в его речи на процессе „Южного Рабочего“ в 1918 г.

В. Дембо.

I. Украинские кружки. Первое знакомство с жандармами

В конце 80-х годов я поступил в Киевский университет. Время было глухое. Реакция царила во всю. В Киеве не существовало тогда никаких революционных организаций (может быть, впрочем, они были только неизвестны широким кругам студенчества). Но среди студенчества были украинские кружки так называемых „культурников“ и „драгомановцев“.

Я попал сначала в один кружок культурников, носивший название „Хрестоматии“. Дело в том, что этот кружок задался целью составить украинскую хрестоматию и в будущем напечатать ее, если не удастся в России, то в Галиции. Кружок находился под крылышком старых украинофилов (так называемой „старой громады“). Из членов кружка я припоминаю Игнатия Павловича Житецкого (сына известного украинского ученого Павла Игнатьевича Житецкого), Якова Забелу, Михаила Николаевича Марковского и даровитого поэта Владимира Самойленко, писавшего под псевдонимом „В. Сивенького“. „Хрестоматия“ при мне ничего, в сущности, не делала: мы собирались, вели приятные разговоры, время от времени кто-нибудь прочитывал какое-нибудь сообщение (я, впрочем, могу припомнить только один реферат члена кружка Кристаловского

об артелях у украинцев по книжке Щербины об артелях черноморских рыбаков).

Кое-кого из младших членов „Хрестоматии", в том числе и меня, не удовлетворяла такая деятельность или, вернее, бездеятельность нашего кружка. О социализме мы имели очень смутное представление, но все же чувствовали (именно чувствовали), что социализм имеет в виду благо широких народных масс, наш же „культурный" кружок, даже если бы он действительно занялся деятельно составлением хрестоматии или другой подобной работой, не мог бы быть полезен этим самым массам в виду общих политических условий.

Попытались мы с Михаилом Николаевичем Марковским найти ответ на „проклятый" вопрос: „что делать?" у одного из наиболее уважаемых наших учителей Павла Игнатьевича Житецкого (мы с Марковским окончили Коллегию Павла Галагана, где Житецкий был учителем словесности; своим преподаванием Житецкий дал нам очень много). Но и Житецкий нас не удовлетворял. Как сейчас я помню его ответ на наши тоскливые недоумения. Отозвавшись очень презрительно о „политиках между Жилянской и Жандармской улицами" (намек на кружки „драгомановцев"), Житецкий сказал: „Если хотите работать для украинского народа, становитесь первоклассными учеными и пишите ваши работы по украински. Тогда волей-неволей и чужие станут изучать украинский язык, чтобы знакомиться с вашими работами. А теперь больше всего полезен для украинской идеи украинский театр" (тогда на украинской сцене подвизались Заньковецкая, Кропивницкий, Саксаганский, Садовский и другие, действительно, выдающиеся артисты).

Мы толкнулись тогда к „драгомановцам". Сильное влияние оказал на нас Константин Иванович Арабажин, в будущем довольно известный петербург-

ский критик и журналист, ставший впоследствии профессором русской литературы в Гельсингфорском университете. Недавно умерший Богдан Алексеевич Кистяковский также немало способствовал нашему превращению в „драгомановцев“: он лично мне дал первую книжку Драгоманова, с которой я познакомился, именно „Историческую Польшу и великорусскую демократию“. С каким благоговением, можно сказать, я смотрел на это первое нелегальное произведение, попавшее мне в руки и переданное мне с большими предосторожностями.

Через Арабажина и Кистяковского мы познакомились с Николаем Васильевичем Ковалевским и его дочерью Анной Николаевной.

С чувством глубочайшего уважения я вспоминаю о Николае Васильевиче. Ко времени моего знакомства с ним он был (или казался) уже стариком. Поражала прежде всего его наружность: если бы я был художником и захотел передать в красках или в мраморе прекрасный, идеальный образ древне-греческого мудреца я взял бы моделью Николая Васильевича. Физическая красота у Николая Васильевича гармонически сливалась с душевной. Когда киевская „старая громада“ разошлась с Драгомановым из-за его якобы „вредной“ для украинского дела заграничной деятельности, Ковалевский вышел из „старой громады“ и все свои силы употребил на материальную поддержку Драгоманова. А сделать это было не так легко. Ковалевский был в конце семидесятых годов учителем словесности в киевском кадетском корпусе (а раньше в каких-то других учебных заведениях), но был сослан административным порядком в Восточную Сибирь, откуда возвратился только в начале 80-х годов. Так как преподавание в учебных заведениях было ему воспрещено, то он зани-

мался, ко времени моего знакомства с ним, частными уроками. Уроки эти (в богатых киевских домах, преимущественно, еврейских) оплачивались довольно хорошо, но все же не настолько хорошо, чтобы дать возможность и самому Николаю Васильевичу с дочерью просуществовать и помогать Драгоманову. И тем не менее Николай Васильевич уделял значительную часть своего заработка именно на поддержку Драгоманова и его деятельности. Во время ссылки Ковалевский схватил мучительную невралгию и вот — вижу это, как сейчас — этот больной старик идет на свои уроки по гористым улицам Киева в слякоть и метель, закутавшись в свой плед (шубы у него не было) и не позволяя себе истратить лишний двугривенный на извозчика. Так как все-таки личных средств Ковалевского не хватало, разумеется, на постоянно требовавшуюся помощь на издания Драгоманова и возникшего в 1890-ом году детища Драгоманова — галицкой радикальной партии, то Ковалевский несколько раз в году (по большей части зимой — на Рождество и на масляницу) предпринимал поездкив Одессу, Харьков и другие города, где у него сохранились старые связи, для собирания денег. И, конечно, эти поездки он совершал, иногда корчась от невралгических болей, в вагоне третьего класса... И в то же время он был бодр, остроумен, живо интересовался всей деятельностью Драгоманова и его последователей и поддерживал бодрость в молодых „драгомановцах". Ковалевский пережил Драгоманова всего на 2 года: он умер в 1897-ом году.

Дочь Николая Васильевича Анна Николаевна, как говорят, очень походила на свою мать, одну из самых выдающихся русских революционерок, Марию Павловну Ковалевскую, так трагически погибшую во

время Карийской истории. У Дейча („16 лет в Сибири“) и у Стефановича („Дневник карийца“) есть упоминания, как Мария Павловна любила свою „Галю“, как она ждала известий от нее, как следила по письмам за ее развитием... В свою очередь, Анна Николаевна прямо с какой-то болезненной страстностью говорила о своей матери... Можно себе представить, каким ужасным ударом для Анны Николаевны была очень нескоро дошедшая до нее весть о трагической смерти матери.

Анна Николаевна была пытливым, чутким человеком, очень хорошо говорила (о красноречии ее метери говорят и Дейч и Стефанович) и всей душой отдавалась всему, за что только бралась. Она стала душой того драгомановского кружка, в который вошли мы с Марковским, Николай Алексеевич Максименко (будущий профессор Харьковского университета) и некоторые другие.

Наш кружок был, собственно говоря, кружком самообразования, но прибегавшим к нелегальным книжкам (Драгоманов, ведь, был эмигрантом и его произведения, даже чисто научного содержания, издавались заграницей—в „страшной“ Женеве и в Россию не пропускались).

Мы воображали себя „политическими деятелями“, потому что собирались тайком и читали „преступные“ Драгомановские издания. Изучали мы также положение дел в Галиции, которой Драгоманов придавал такое большое значение. Наш интерес к Галиции усилился еще благодаря тому, что летом 1889 г. в Галиции были арестованы в связи с происходившей там предвыборной агитацией поехавшие туда члены более старого драгомановского кружка (Богдан Кистяковский, Марцинский и Сергей Деген с двумя

сестрами), а в Киеве подверглись аресту и другие члены этого кружка — Арабажин, Евгений Деген, Николай Львович Лаппо-Данилевский и Антон Степанович Синявский.

Вот в связи с деятельностью нашего кружка и пришлось мне впервые познакомиться с жандармами. Произошло это таким образом.

В конце февраля 1890-го года наш кружок задумал устроить так называемые „роковини“ (празднование годовщины смерти или рождения) Шевченка с докладом, декламацией стихотворений и пением.

Нужно было подыскать квартиру человек на 50—60. Обращаться к „старым“ украинофилам мы не хотели, потому что мы стояли в ярой оппозиции к ним: мы считали их слишком осторожными, попросту трусами, дрожавшими перед всем „нелегальным“, а тем более „политическим“.

Они стояли за исключительно культурную работу, да и то в очень скромном размере (разработка на русском языке украинской истории и истории украинской литературы, украинский театр, украинская беллетристика).

Я обратился к знакомому домовладельцу, симпатичному человеку, с которым можно было говорить откровенно. Он согласился предоставить нам пустую квартиру во флигеле его дома но с тем, чтобы я на всякий случай заключил с ним письменное условие, что снимаю, мол, квартиру на один вечер для празднования именин.

Пришлось согласиться, но подписался я фамилией, почему-то в тот момент пришедшей мне в голову— „Косуля“.

Празднество наше прошло очень хорошо; я прочел реферат о Кирилло-Мефодиевском братстве (пер-

вой нелегальной украинской организации — с Костомаровым, Кулишем и Шевченко во главе), затем декламировались и пелись нелегальные стихотворения Шевченко и, наконец, все присутствовавшие были угощены незатейливым ужином—и все это, если не ошибаюсь, за 30 к. с каждого.

Но — „окончился пир их бедою“: через несколько дней после „роковин“ некоторые из бывших там получили через полицию приглашение „пожаловать в жандармское управление“... В числе получивших это любезное приглашение был и я.

Так как мы приглашались на следующий день, то, понятно, мы сговорились между собой. Надо сказать правду, что многие девицы, получившие приглашение, испытывали изрядный трепет. Условлено было, однако, что мы будем тверды и будем все отрицать; „я не я, и лошадь не моя и я не извозчик“, как шутя говорил Николай Васильевич Ковалевский.

Ясно было, что жандармы получили только, так сказать, „наружные“ сведения и не имели понятия о том, что, собственно, происходило в пустой квартире на Львовской улице.

Я решил для первого знакомства с жандармами привести себя в наиболее приличный вид и потому непосредственно перед тем, как отправиться в жандармское управление, побрился, надел чистый воротничок и почистил свой студенческий сюртук.

После этого я отправился в жандармское управление.

Помещалось оно тогда в Старокиевском полицейском участке. Лестница с налипшей грязью на ступенях (было начало марта и уже наступила дружная теплая весна), какие-то мрачные закоулки и переходы, захватанные, оборванные двери, подозрительные лица,

попадавшиеся по дороге — все это настраивало не особенно весело.

Когда я, наконец, после распросов и блуждания в темноте по каким-то ступенькам вверх и вниз, добрался до самого „святилища“, крепко смахивавшего на застенок, рослый жандарм „ с усищами в аршин“, узнавши мою фамилию и справившись у невидимого начальства, отвел меня в какую-то маленькую комнату со шкафами по стенам и предложил „немножко обождать“.

Я просидел в этой комнате часа 2 или 3 и очень жалел, что не захватил с собой газеты или какой-нибудь книги. Извне не доносилось никакого звука: стены были слишком толсты, чтобы выдать тайны соседних комнат; в корридоре жандармы и „шпики“, которых я мимоходом заметил, переговаривались шопотом, а на улицу окна были еще крепко закупорены. Было скучно и начинала болеть голова.

Наконец, отворилась дверь и тот же жандарм сказал мне: „пожалуйте“.

Я прошел в сопровождении жандарма довольно далеко от той комнатки, где я сидел, и в конце корридора жандарм распахнул предо мной дверь.

Я вошел в большую светлую комнату, где сейчас же подскочил ко мне какой-то худенький офицер в синем мундире и, впиваясь в меня своими колючими глазами, закричал:

— Вы побрились?

Я был очень удивлен и, совершенно не понимая смысла вопроса, ответил:

— Да, побрился.

— Когда же вы побрились?

— Сегодня утром.

— Зачем же вы побрились?

Я пожал плечами и сказал:

— Да так, просто... Захотелось побриться, я и побрился.

Мне не хотелось признаться, что побрился я, чтоб иметь, так сказать, более элегантный вид.

Жандарм с досадой отвернулся от меня и тут только я заметил, что в комнате, кроме этого офицера с колючими глазами, был еще другой, в противоположность первому, очень толстый и с глазами, лишенными не только колючести, но и просто всякого смысла. Здесь же я увидел и того моего знакомого домовладельца, в доме которого мы устроили „роковини“. Он сделал вид, что меня не знает.

Толстый офицер подвел меня к домовладельцу и спросил его:

Этот студент нанимал у вас квартиру для именин?

Домовладелец внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Нет, это не тот: тот был с бородкой.

— Да ведь и этот был с бородкой, закричал офицер с колючими глазами, но он ее сбрил!

— Нет, заявил домовладелец, тот был как будто, кроме того, темнее... Знаете, этакий жгучий брюнет...

Офицер с колючими глазами был ужасно недоволен. Он, очевидно, подозревал, что домовладелец меня выгораживает.

Толстый офицер предложил мне сесть и затем оба офицера вышли. Я хотел было заговорить с домовладельцем, поблагодарить его, но он опасливо приложил палец к губам, и мы оба сидели некоторое время молча.

Вдруг открылась дверь и вместе с обоими офицерами вошел... дворник того дома, где была устроена вечеринка.

Это был типичный „кацап“ в нагольном тулупе.

По правде сказать, я о нем совсем забыл. А между тем он мне показывал квартиру, когда я приходил к домовладельцу для переговоров. Казалось, не было сомнения, что он меня узнает. Нельзя сказать, чтоб мои ощущения были особенно приятны.

— Вот посмотри хорошенько на этого студента, сказал подполковник Евецкий (это и был офицер с колючими глазами, как я потом узнал). — Это он нанимал квартиру на один вечер?

Я замер в ожидании. Дворник очень внимательно рассматривал меня в течение нескольких минут (мне показалось это время очень долгим) и, наконец, заявил:

— Никак нет. Так что у того бородка была...

— Да ведь и у этого бородка была, только он побрился! прямо завопил Евецкий. — Ты посмотри получше: ведь это он?

— Никак нет, продолжал твердить дворник.—Совсем как будто другой...

Евецкий продолжал некоторое время убеждать дворника, что я это именно тот самый, который и т. д., но все-таки ничего не добился (я потом узнал, что домовладелец дал дворнику заранее некоторую „сумму“, убедивши его, что он никакому риску не подвергается).

Наконец, Евецкий со злостью махнул рукой и ушел. Были отпущены и домовладелец с дворником. Со мной остался только толстый офицер, подполковник Кондратьев, как я узнал из протокола.

Кондратьев повел уже формальный допрос. Он стал уговаривать меня, чтоб я сознался в устройстве незаконного собрания, так как, мол, все равно мои знакомые уже заявили об этом. Он даже показывал мне (правда, издали) какие-то протоколы, в которых будто бы об этом говорилось. Из характера его вопросов я

понял, что жандармы на ложном пути: они предполагали, что собрание имело в виду подготовку студенческих волнений (в это время происходили студенческие волнения в других городах).

Несмотря на всю мою неопытность, я не поверил Кондратьеву (ведь было же условлено, что все призванные на допрос будут все отрицать) и все время отвечал: „знать не знаю, ведать не ведаю".

Разговаривать с Кондратьевым было нетрудно, потому что он далеко не обладал искусством „инквизитора"...

Поставил и он мне вопрос о том, почему я побрился. Мне это надоело и я сослался на наступление весны.

— Так и запишите! сказал он.

Я не без удовольствия написал вычурную канцелярскую фразу, напомнившую мне некоторые места из моего любимца Щедрина. „До последнего времени носил бакенбарды и бороду, но таковые по случаю наступления теплого времени сбрил"...

Наконец, Кондратьев, тщетно стараясь придать своим глазам выражение проницательности, спросил меня:

— А не встречали ли вы такой фамилии: „Косуля"?

— Может быть, и встречал, отвечал я.

— А где же вы встречали? ухватился он.

— Да, вероятно, в исторических документах. Мне, видите ли, объяснял я, приходится заниматься в университете историей Малороссии и изучать относящиеся к ней исторические документы, так вот очень возможно, что там среди других странных малорусских фамилий встречалась и фамилия „Косуля".

— Хм... недоверчиво хмыкнул Кондратьев—в исторических документах... А в жизни вы фамилии „Косуля" не встречали?

— Нет, не встречал, ответил я.

По неопытности я все-таки сделал одну ошибку в своих ответах: когда Кондратьев меня спросил о средствах к жизни и я сказал, что живу уроками, то на вопрос его, у кого именно я даю уроки, я ответил правду — именно, что, между прочим, даю уроки у командующего войсками ген. Драгомирова. Тогда Кондратьев, пораженный моим ответом, пожелал узнать (в порядке частной беседы), кто меня рекомендовал Драгомирову. Я опять-таки сказал правду, именно что „рекомендовал меня Павел Игнатьевич Житецкий, мой учитель по коллегии Павла Галагана".

Когда допрос был окончен, Кондратьев меня с миром отпустил домой.

Я спешил домой, как на крыльях: во-первых, я был доволен своей стойкостью, во-вторых, мне хотелось поскорее успокоить родных, которые были очень взволнованы приглашением жандармского управления, в-третьих (причина прозаическая, но очень существенная), я с утра ничего не ел, а уже наступал вечер.

Дома мне, конечно, очень обрадовались, расспросам не было конца... Сообщили мне также, что в мое отсутствие приходила А. Н. Ковалевская, с которой вместе я устраивал „роковини" и которая также была в числе приглашенных в жандармское управление, и просила, чтобы я непременно пришел к ней в тот же день.

Поэтому я, поевши и поболтавши немножко с родными, отправился к Ковалевским.

Когда я пришел к ним, Анна Николаевна встретила меня словами:

— Вы сказали, что были на вечеринке?

Я ответил с гордостью отрицательно, заявляя, что было, ведь, условлено отрицать.

А. Н. пришла в отчаяние.

Оказалось, что жандармы уверили ее, будто я уже сознался (на самом деле ее допрашивали раньше меня), и она сказала, что была на вечеринке, при чем обрисовала ее, как в высшей степени невинную, и что там она и меня видела.

Побудило ее пойти на удочку жандармов то неизвестное нам обоим раньше обстоятельство, что к допросу в самый день его (а не накануне, как нас всех) позвали и ее прислугу, помогавшую в устройстве хозяйственной части вечеринки.

— Я и подумала, говорила Анна Николаевна, что вы тоже узнали о приглашении прислуги и решили, поэтому, не отрицать, что вы были на вечеринке...

Анна Николаевна просто места себе не находила, что вот, мол, она меня „выдала".

Позвали мы на совет Николая Васильевича. Н. В. посоветовал, чтобы на следующий день Анна Николаевна пошла в жандармское управление и там заявила, что она берет назад свое показание относительно меня, что она меня, мол, не видела на вечеринке, что ей только показалось, что я там был, а потом она хорошо припомнила, что меня не было...

— Может быть, прибавлял Н. В., тебя за это вышлют из Киева, но что же делать?

Так и было решено, и Анна Николаевна успокоилась.

Вдруг отворяется дверь, и прислуга вводит околоточного, который вручает Анне Николаевне повестку с приглашением на следующий день в жандармское управление. Таким образом, устранялась необходимость для Анны Николаевны по собственной инициативе итти к жандармам.

Когда я вернулся домой, то оказалось, что и мне, к большому беспокойству моих родных, принесли такую же повестку.

На следующий день я снова отправился в Старокиевский участок. На этот раз меня не заставили так долго ждать, как накануне, и довольно скоро ввели меня в знакомую большую комнату. Здесь я увидал неожиданное зрелище: за громадным столом прямо против двери заседал целый ареопаг — очень много жандармских офицеров, блестевших своими пуговицами, шашками и аксельбантами, а посредине их сам генерал Новицкий, начальник жандармского управления. Я его раньше никогда не видал, но много о нем слышал, и сразу догадался, что это он.

Новицкий, обладавший очень внушительной наружностью, обратился ко мне с такой грозной речью.

— Я прочел ваше показание. В нем нет ни одного слова правды. Ваши лучшие друзья утверждают, что вы были на вечеринке и даже несли какие-то тарелки (NB никаких тарелок я не нес), а вы это отрицаете. Признайтесь, пока не поздно.

— Я не знаю, что говорят мои лучшие друзья, нашел в себе смелость ответить я.— Но если они утверждают что-либо подобное, то я прошу вас дать мне с ними очную ставку.

— Вы будете учить меня, как вести допрос!—загремел генерал и сейчас же перешел к продолжению своей речи.

— Вы даете уроки у Михаил Ивановича (имя отчество генерала Драгомирова) и вас рекомендовал Житецкий... Но они не знают, кто вы такой... Я это им скажу. И знайте, что как только начнутся студенческие волнения в Киеве, вы первый будете арестованы (а! мелькнуло у меня в голове, значит сейчас я не буду арестован). Запомните же это и берегитесь! Можете итти...

Я не стал спорить с генералом насчет вежливо-

сти его обращения (я рассуждал, что смешно было бы требовать ее от бешеной собаки) и поспешил оставить „приятное общество“.

В корридоре жандарм спросил меня:

— Вы не арестованы?

Моему отрицательному ответу он не поверил и отправился спросить генерала. Вернувшись, он открыл дверь и через минуту я уже был на улице.

Так произошло мое первое знакомство с жандармами.

Через некоторое время ко мне как-то вечером пришел курьер из редакции „Киевской Старины“ и сообщил, что в редакцию приходила „Житециха“ (Варвара Семеновна Житецкая, жена Павла Игнатьевича) и просила передать мне, чтоб я возможно скорее пришел к Павлу Игнатьевичу. Я сейчас же поплелся к Житецкому бог знает куда — на Вознесенский переулок, утопавший в грязи и темноте.

Житецкий, обычно спокойный и уравновешенный, казался на этот раз взволнованным. Оказалось, что Новицкий сдержал свое обещание—объяснить Житецкому, „кто я такой“.

Житецкий беспокоился о судьбе одного из своих младших сыновей, студента Харьковского ветеринарного института: там были волнения, институт был закрыт, сын Житецкого уже должен был приехать домой, а между тем не было ни его самого, ни писем от него; Житецкий и боялся, не арестован ли он. Чтобы навести справки о нем, Житецкий отправился к Новицкому. Не знаю, как ответил Новицкий Житецкому на его вопросы о сыне, но после разговоров о сыне Новицкий спросил Житецкого (по его рассказу):

— Вы рекомендовали Тучапского Драгомирову?

— Да, ответил Житецкий.

— А вы знаете, кто он такой?

— Конечно, знаю: мой ученик, хорошо занимавшийся в коллегии и теперь хорошо занимающийся студент.

— Нет, по убеждениям кто он такой?

— Ну, чтож—украинофил, заявил Житецкий.

— Да, украинофил, но—женевского типа.

Встревоженный этим утверждением Новицкого, Житецкий и вызвал меня к себе для объяснений.

Я сказал, что, может быть, Новицкий по сообщениям шпионов знает, что я часто бываю у Ковалевского, и отсюда заключает, что я „украинофил женевского типа“, т. е. драгомановец.

Житецкий, к моему изумлению, вспыхнул.

— Почему же вы не сказали мне, что поддерживаете близкие отношения с Ковалевским, этим сумасшедшим?—раздраженно воскликнул он.

Я, в свою очередь, стал на дыбы.

— Я считаю, сказал я, что я вправе знакомиться с кем мне угодно, точно так же, как в праве читать какие-угодно книги, никому не отдавая отчета.

Житецкий начал говорить что-то о том, что я таким образом „подвел“ его. Я не возражал, и мы расстались, недовольные друг другом.

Уроки у Драгомирова я все-таки довел до конца года, хотя несомненно, что Новицкий и Драгомирову прямо или косвенно постарался сообщить, „кто я такой“.

II. Увлечение Галицией. Арест

Наше маленькое приключение с призывом в жандармское управление не остановило нас: кружок наш продолжал существовать и по прежнему работать. Личный состав кружка несколько изменился: А. К. Ковалевская вышла замуж за одного из членов более старого „драгомановского“ кружка Евг. Викт. Дегена и уехала с ним в Юрьев. Дело в том, что Евг. Дегену, после его ареста в 1889 г. (об этом я упоминал выше), было воспрещено пребывание в Киеве, и он уехал сначала в Харьков, где поступил на филологический факультет (в Киеве он почти окончил математический), а когда его и оттуда изгнали, как „неблагонадежного“, перевелся в Юрьевский университет. Та же участь постигла и Богдана Кистяковского (он тоже переменил факультет: с филологического, на котором он был вместе со мной, он перешел на юридический).

В нашем кружке мы по прежнему читали запрещенные книжки (у нас составилось уже порядочная библиотека), и не только украинские или имевшие отношение к Украине, но и русские (напр., издания „Фонда вольной русской прессы“ в Лондоне), читали время от времени рефераты (иногда в довольно больших собраниях), старались распространять и в устных беседах взгляды Драгоманова и т. д.

Прибавилось, однако, и нечто новое. Я уже говорил о нашем интересе к Галиции. Этот интерес к концу 1890-го года перешел в настоящее увлечение.

Дело в том, что под влиянием Драгоманова в Галиции, где были все-таки куда более свободные формы политической жизни, образовалась русинская (т. е. украинская) крестьянская радикальная партия. Во главе этой партии стали два талантливых ученика Драгоманова (еще с конца 70-х годов): Франко и Павлик. Радикальная партия выставила собственно социалистический идеал, как свою конечную цель, но к социал-демократическому учению она относилась, в лице, по крайней мере, своих вождей, даже враждебно (в дальнейшем из радикальной партии выделились галицкие украинские социал-демократы, как Мыкола Гянкевеч Витик и Р. Яросевич).

Галицкие радикалы завязали сношения с нами; время от времени в Киев приезжали от них специальные уполномоченные, привозили контрабандой вновь вышедшие украинские книжки, не пропущенные в Россию, и старались при нашей помощи собрать средства на свою деятельность, преимущественно на свои издания. Особенно много сделал для них в этом отношении, как я об этом упоминал уже выше, Николай Васильевич Ковалевский.

Приезжали к нам в разное время Яросевич, Невестюк, д-р Теофил Окуневский. Мы, конечно, с большим уважением смотрели на приезжих уже „настоящих“ политических деятелей, которые ведут и настоящую пропаганду и агитацию среди крестьянских масс, и выборы проводят в сейм (Галицкий) и рейхсрат (общеавстрийский), и устраивают всякие просветительные и экономические организации среди крестьян и т. д., словом делают то, что нам рисовалось, как недостижимый идеал.

Но этого мало: на их дело мы смотрели, как на наше собственное. Действительно, несмотря на все наше уважение к Драгоманову, его планы практической деятельности с целью завоевания политической свободы в России, главным образом, при помощи земств, казались нам ввысшей степени трудно осуществимыми. С другой стороны, кое-что из опыта русского революционного движения „хождения в народ“ нам было известно, и поэтому к возможности непосредственной работы в украинском крестьянстве мы относились крайне скептически. И вот теперь мы как будто нашли выход: нам казалось, что организация галицкого украинского крестьянства непременно должна будет отозваться и на нашем, российском, украинском крестьянстве и тогда... что будет тогда, мы конкретно не представляли себе, но во всяком случае в галицком радикальном движении видели единственное средство повлиять на украинское крестьянство.

И мы ухватились за веру и надежду, что галицкое радикальное движение перекинется и в российскую Украину. „Поможем галицким радикалам и они помогут нам“, вот какая мысль руководила нами.

Понятно, с каким живым интересом мы относились к деятельности радикальной партии. Она стала выпускать газету „Народ“, выходившую в Львове, если не ошибаюсь, каждые две недели. Газета была очень содержательной. Статьи Драгоманова, Франко, Павлика, Евг. Левицкого, Будзиновского и некоторых других, боровшиеся с узким национализмом, ставившие на первый план насущные нужды крестьянства в противоположность „панским“ стремлениям как чужих, так и своих высших классов, прямо захватывали нас.

„Народу“ на первых же порах его существования пришлось вести борьбу с так называемой „угодой“ или

„новой ерой". „Угода" (соглашение) была заключена парламентскими вождями русинов, принадлежавшими к партии „народовцев", Александром Барвинским, Романчуком и др., с галицкими польскими правящими кругами. Барвинский и компания обязывались поддерживать поляков (в Восточной Галиции, главным образом, крупных землевладельцев, „панов") за незначительные национальные уступки украинцам: открытие 2—3 гимназий с украинским преподавательским языком, украинские надписи на почтовых ящиках и еще что-то в этом роде. Таким образом, вожди галицкой „народной" партии оказывались предателями насущных интересов громадной части галицкого украинского населения, именно крестьянства, в пользу „панов". Понятно, как должны были отнестись к такой политике галицкие радикалы, во главе с Драгомановым. В статьях „Народа" по поводу „угоды" клеймился позором тот „национализм", который пренебрегает подлинными нуждами широких народных масс, принося их в жертву „национальной" внешности. Выяснялась, таким образом, противоположность классовых интересов и неизбежность классовой борьбы, хотя без марксистской терминологии и в своеобразной оболочке.

Для нас этот спор имел тем более острое значение, что в Киеве в это время рядом с „культурниками" как из „старой громады", так и из молодых ее сторонников, и „политиками" в лице драгомановцев возникает еще одна украинская фракция — тоже „политиков", но совершенно иной, сравнительно с драгомановцами, окраски. Лидеры этой фракции, употребляя выражение Драгоманова, „ездили на коне высокой политики". Направление этой фракции было... австрофильское. Фракция австрофилов надеялась достигнуть национального освобождения Украины при помощи

всяких международных комбинаций, связанных с войной с Россией. В виду этих комбинаций важно было склонить на свою сторону правящие круги Австрии. Предвиделась возможность соединения российской Украины с Восточной Галицией под крылышком Австрии. Отсюда всевозможные „дипломатические“ ходы и сношения с влиятельными австрийскими партиями. А так как польские магнаты имели большой вес в тогдашней Австрии вообще, а в Галиции в особенности, то, понятно, наши австрофилы всецело стояли за „угоду“.

Мало того, как мы впоследствии узнали, а в то время подозревали, самая инициатива „угоды“ исходила именно от наших австрофильствующих „дипломатов“.

С австрофильством у той фракции, о которой идет речь, соединялся шовинистический национализм, направленный своим острием против великороссов. Дело доходило до отрицания славянского происхождения великороссов: они, дескать, не славяне и не арийцы, а туранцы—в их жилах течет азиатская „желтая“ кровь. Обобщались эти взгляды в якобы научной теории—неизменных национальных типов. В силу этой теории великороссы—от природы деспотическая, хищническая нация, и поэтому единственное спасение Украины—ее отделение от Великороссии и, в связи с международным положением, соединение с Австрией.

Между галицкими и российско-украинскими „уговцами“ существовала тесная связь; их общим органом являлась львовская „Правда“.

Во главе австрофильской фракции стояли (ныне оба покойные) А. Я. Конисский и (как я был огорчен, когда узнал это!) мой любимый профессор Вл. Бон. Антонович, когда-то сотрудник Драгоманова по изданию „Исторических песен малорусского народа“.

Надо отдать справедливость А. Я. Конисскому: этот старик, слепой на один глаз, отличался неутомимой деятельностью. Он был и лирическим поэтом, и драматургом, и беллетристом, и историком литературы, и экономистом, и публицистом... Правда, в данном случае „количество" не переходило „в качество" (исключение составляет написанная им биография Шевченка), но все же энергия Конисского заслуживала уважение. Вокруг Конисского группировалось и довольно большое количество молодежи, главным образом, кажется, из семинаристов к этой группе примыкал тогда и молодой ученый, Мих. Серг. Грушевский.

Удары „Народа", направленные на галицких „уго-довцев", естественно падали и на наших австрофилов. И, может быть, статьи галицких радикалов, а в особенности Драгоманова, открыли глаза не одному из сторонников Конисского и Антоновича.

Сотрудничали в „Народе" и мы. К. И. Арабажин послал в „Народ" статью под живописным заглавием: „Був кінь та з'їздився". Из нее была напечатана (с подписью „не—я") только часть, озаглавленная скромно „Де-що про націоналізм". Характерна одна фраза этой статьи, до сих пор оставшаяся у меня в памяти: „Нам все одно, який Держиморда поведе нас у кутузку і на якій мові він роскаже нам, що права чоловіка не про нас писані". Эта фраза выражала суть и наших национальных взглядов. Появились в „Народе" и мои первые печатные строки (с подписью „Е. С."): корреспонденция, содержания которой я не помню, и реферат, прочитанный мною на „роковини" Шевченка в 1891 г. в нашем кружке, под заглавием „Шевченкові ідеали і українська дійсність" („Идеалы Шевченка и украинская действительность"). Этот реферат был издан редакцией „Народа" и отдельной брошюрой.

Получать открыто „Народ“, конечно, не было никакой возможности. Приходилось получать его в запечатанных конвертах на какие-нибудь „благонадежные“ адреса. Для отправки в Россию „Народ“ печатался на очень тонкой бумаге, как это делали потом и русские заграничные газеты („Искра“, „Революционная Россия“, „Освобождение“). Для нашего кружка я подыскал подходящий адрес (одной вполне „благонадежной“ модистки) и аккуратно заходил к ней, когда по моему расчету должен был получиться очередной номер. По прочтении я передавал номера „Народа“ другим членам кружка, а потом они возвращались ко мне, так как я был библиотекарем кружка (как я уже упоминал раньше, у нас накопилось порядочное количество нелегальных книжек, и не только украинских, но и русских).

Летом 1892 года я жил на уроке в семье одного киевского купца на даче в предместьи Киева. В это время Анна Николаевна Деген (Ковалевская) попросила меня быть третейским судьей с ее стороны в споре (из-за чего, я не помню) с Богданом Кистяковским (как говорилось выше, и Анна Николаевна с мужем и Кистяковский переехали в Юрьев). Я согласился и, чтобы условиться о времени суда и других подробностях, побывал у Кистяковского, приехавшего на каникулы в Киев. Он куда-то уезжал на время и взял мой адрес, чтобы списаться со мной.

Через некоторое время до меня дошли слухи, что Кистяковский арестован (он всегда вел себя очень таинственно, так что я и до сих пор не знаю, почему его арестовали). Так как у него мог быть найден мой адрес, я решил принять необходимые предосторожности: я перевез всю библиотечку, бывшую у меня, в том числе и все номера „Народа“, в безопасное место (к

человеку, вполне благонадежному с полицейской точки зрения) и не заходил за новыми номерами „Народа“. Но прошло довольно много времени, и я успокоился. Так как меня не тревожили, то я предположил, что моего адреса у Кистяковского не нашли или он дал какое-нибудь удовлетворившее жандармов объяснение, почему у него вдруг оказался мой адрес. Очень мне захотелось почитать „Народ“, и я решил, что теперь уж можно без всяких опасений взять вновь полученные номера. Так я и сделал. Номера (их было два) оказались очень интересными. Прочитавши их, я спрятал их в чемодан (другие члены кружка разъехались из Киева по случаю каникул, и некому было передавать их).

Однажды после занятий с моими учениками я отправился в город к сестре и остался у нее ночевать. На другой день очень рано утром я подходил к даче моих хозяев, как вдруг на встречу ко мне спешит один из моих учеников и взволнованно говорит мне:

— П. Л., у нас на даче жандармы.

Оказалось, что как раз в эту ночь, перед рассветом, на дачу явилась целая „эскадра средиземная“, перепугала всех жителей дачи и усердно начала рыться в моих вещах.

Когда я явился, на столе перед жандармами уже лежала груда писем, записочек и даже всяких университетских руководств.

Я пришел как раз во-время, чтобы увидеть, как из чемодана извлекли к большой радости обыскивающих злосчастные 2 номера „Народа“.

После обыска был составлен протокол (мне удалось убедить жандармов не брать университетских учебников), и затем полковник Федоров любезно пригласил меня поехать вместе с ним в жандармское управление. Нельзя сказать, чтобы это приглашение доставило мне

большое удовольствие. Но делать было нечего: я уселся на дрожки рядом с полковником, державшим в руках перевязанный и опечатанный сверток с отобранными у меня „преступными“ вещами.

Солнце так ярко светило в этот чудный июльский день, по улицам ходили свободные люди, а я сидел рядом с жандармским полковником и вспоминал слова Христа апостолу Петру: „Наступит день, и тебя поведут туда, куда ты не хочешь итти“..

Полковник привез меня в знакомый уже мне Старокиевский участок, но на этот раз мне пришлось пойти не на верх по лестнице, а вниз, в подвал, где помещались камеры.

Меня ввели в узкое помещение, показавшееся мне после яркого солнечного света почти совершенно темным (окно было заложено кирпичами, и только высоко вверху оставались два стекла, затемнявшихся густой решеткой). В камере стоял стол, стул и кровать с соломенным матрацом и такой же подушкой; стены были до-нельзя грязны.

Я думал, что меня позовут на допрос сейчас же, как только рассмотрят отобранные у меня письма, рукописи и т. д. (о, неопытность!).

Но прошел день, потом другой, потом третий—и меня все не звали. Приходилось вооружиться терпением, исконной русской добродетелью.

Что мне было делать в моем темном, неприветливом „убежище“? Книг у меня не было, оставалось только размышлять и... наблюдать.

Читателя может удивить последнее слово. В самом деле, что можно наблюдать в наглухо запертой камере?

Но, во-первых, можно было поставить деревянный стул на подоконник, взобраться на этот стул и с этой „возвышенной“ позиции рассматривать двор участка.

Во-вторых, окошечко в двери никогда не запиралось, кроме тех случаев, когда проводили других арестованных, и из окошечка можно было следить за тем, что делалось в корридоре.

Во дворе не было ничего особенно „примечательного“: сложены были штабеля дров, вдали виднелись коновязи для пожарных лошадей, которых здесь по утрам и вечерам чистили, иногда приходили пожарные и городовые.

Зато в корридоре, как это ни странно, была оживленная жизнь: прежде всего, здесь бегали дети, настоящие „дети подземелья“ (это были дети служителя при камерах, жившего в конце корридора), приходили и уходили городовые, и, что меня очень удивило, взад и вперед по корридору расхаживала какая-то женщина.

Мое недоумение скоро разъяснилось. Проходя мимо моего окошечка (в двери), она на другой же день после моего ареста ловко бросила в мою камеру записочку, из которой я узнал, что она была арестована в числе других по обвинению в шпионстве в пользу Австрии (она уверяла, что она ни в чем неповинна). Доктор, писала она в записке, в виду ее нервного состояния нашел, что ей сидеть в камере под замком вредно, и потому ей разрешили ходить по корридору.

Как-то раз, воспользовавшись случайным отсутствием городового, всегда сидевшего в корридоре наискосок против моей двери), Иваницкая (фамилия этой дамы) подбежала к окошечку и торопливым шепотом сообщила мне, что в одной из камер сидел, должно быть, мой товарищ, которого теперь перевели в тюрьму. „Высокий, блондин, кучерявый“, сказала она с сильным польским акцентом. По приметам я узнал Богдана Кистяковского.

Дня через три после моего ареста вдруг раздался у входа в коридор шум, вбежавший жандарм захлопнул окошечко у моей двери, и по коридору кого-то провели в одну из соседних камер (так я догадывался по стуку нескольких пар ног, грохоту засова и звону запираемого замка). Через несколько минут по коридору снова раздались на этот раз удалявшиеся шаги нескольких человек, и дежурный городовой открыл мое окошечко.

Иваницкая вышла из своей камеры, прошла в конец коридора и оттуда вернулась, как обычно она делала, к входной двери. Проходя мимо моей комнаты, она бросила мне многозначительный взгляд.

Прошло еще некоторое время. Я уже отошел от окошечка. Вдруг в мою комнату влетел через окошечко какой-то сверточек. Я его поднял, отошел в угол, стал спиной к двери и развернул. Там была записочка, чистый клочок бумаги и крошечный карандаш.

В записочке было написано почерком Кистяковского: „Я вас не знаю" и почерком Иваницкой: „Напишите ответ".

Я написал: „Я сказал, что мы были вместе в университете. У меня найдены письма о третейском суде".

Мой ответ я передал Иваницкой, которая умышленно близко прошла около моей двери.

Через минуту—две я уже имел ответ от Кистяковского: „Я вас припоминаю".

Таким образом, Иваницкая оказала нам обоим большую услугу: Кистяковский узнал, что, отрицая знакомство со мной, он только запутывает меня, а между тем есть возможность вполне невинно объяснить, почему у него оказался мой адрес (третейский суд); я же мог быть спокоен, что не разойдусь в своих показаниях с Кистяковским.

Однако время все шло, а меня к допросу не звали. Наконец, однажды к моему окошечку подошел жандарм. Я думал, что меня сейчас поведут наверх, но жандарм только передал мне какую-то записочку. Оказалось, что это записка от сестры, сестра спрашивала меня, какие книги мне нужны и как мое здоровье. Жандарм объяснил мне, что сестра сейчас в жандармском управлении и что подполковник Евецкий разрешил ей написать мне записку, на которую она ждет ответа. При этом жандарм передал мне бумагу и карандаш.

Я, конечно, очень обрадовался вести от своих и сейчас же написал ответ, в котором просил принести мне некоторые университетские руководства (я готовился тогда к государственным экзаменам) и две книги из библиотеки, которых я не успел прочесть, будучи на свободе, именно „Историю материализма" Ланге и „Западное влияние в русской литературе" Алексея Веселовского.

Мне особенно хотелось получить последнюю книгу, одну из самых интересных, какие я только читал. Я ее только начал читать, и мне очень улыбалось продолжать ее чтение в той неприглядной обстановке, в какой я очутился.

Прошло еще два-три дня; снова у моего окошечка появился жандарм. На этот раз меня отперли, и жандарм повел меня наверх.

Когда меня ввели в одну из „таинственных" комнат жандармского управления, меня там встретил подполковник Евецкий (тот самый офицер с колючими глазами, о котором говорилось в первой главе). Я не думал, чтобы он когда-нибудь мог обрадовать меня, но на этот раз он меня обрадовал: он стал мне передавать одну за другой те книги, о каких я писал сестре.

Он передал мне несколько руководств, потом „Историю материализма“, а затем спросил:

— А эта книга ваша?

Он показал мне „Западное влияние в русской литературе“.

— Нет, ответил я,—я взял ее в библиотеке.

— В какой библиотеке?

— В библиотеке Лебедева. Там, наверное, есть штемпель библиотеки.

— А в этой библиотеке есть „Записки Степняка“? спросил Евецкий, испытующе глядя на меня своими колючими глазами.

— Какие „Записки Степняка“? искренно удивился я.

Надо сказать, что книга Веселовского („Западное влияние в русской литературе“) составилась из статей, напечатанных раньше в журнале „Вестник Европы“.

В библиотеке вырезали эти статьи и переплели их вместе. Но когда вырезывали, то приходилось иной раз захватывать и первую страницу следующей статьи или рассказа. Эту лишнюю страницу заклеивали бумагой, но через эту бумагу можно было разобрать, что там напечатано. Оказалось, что на одной из таких страниц вверху стоял заголовок „Записки Степняка“.

Когда мне Евецкий показал этот заголовок, я сообразил, в чем дело, и стал ему объяснять, как составилась книга, указал, что шрифт, каким печатается „Вестник Европы“, настолько известен, что Евецкий не может сомневаться в моих словах, и что в „Вестнике Европы“ печаталось произведение известного писателя Эртеля „Записки Степняка“.

— Нет, его фамилия не Эртель, перебил меня Евецкий.—Его фамилия... он полез в стол за какой-то справочной, повидимому, специально предназначенной для жандармов книгой... его фамилия Кравчинский.

Действительно, как известно, знаменитый революционный деятель 70-х годов Кравчинский писал под псевдонимом „Степняк".

Я стал объяснять, что в данном-то случае „Записки Степняка написаны не Кравчинским, а Эртелем, и что он, Евецкий, легко может это проверить.

Евецкий недоверчиво слушал меня и сказал наконец:

— Все-таки этой книги я вам не дам.

Потом сестра рассказывала мне, что когда он возвращал ей Веселовского (мои надежды прочесть эту чудесную книгу в моем заключении так и не сбылись), то говорил:

— Видите ли, здесь вот написано „Записки Степняка". Конечно, я знаю, что это из „Вестника Европы" и что „Записки Степняка" написал Эртель, но, видите ли, Степняк—это известный революционер Кравчинский, и я поэтому не могу передать эту книгу вашему брату.

Получивши книги, я усердно занялся чтением, вернее сказать, изучением истории и философии, по которым мне предстояло держать государственные экзамены.

Это значительно уменьшило тяжесть моего заключения.

К тому же мне разрешили, наконец, прогулки, которых в первые дни после ареста я был лишен, и каждый день к вечеру я в течение получаса мог ходить взад и вперед по непривлекательному двору Старокиевского участка (в сопровождении городового, разумеется).

Однажды я побывал даже на улице, так как меня водили в фотографию—запечатлеть мою физиономию для нужд жандармского управления.

Прошло уже две недели со дня моего ареста, а меня все еще не звали к допросу. Я уже перестал и ждать допроса, когда, наконец, явился снова рослый жандарм и повел меня наверх.

В одной из комнат жандармского управления меня уже ждал подполковник Евецкий. Он любезно предложил мне сесть и после обычного допроса о моем имени, отчестве, фамилии, звании, возрасте, занятиях и т. д., приступил к разговорам по существу.

— Это ваша газета? спросил меня Евецкий, показывая мне злосчастные два номера „Народа".

— Да, она найдена у меня при обыске, ответил я.

— Откуда она у вас?

— Я нашел ее на улице, заявил я.

Евецкий вскипел и стал доказывать мне, что это нелепость, что никогда никто ничего подобного на улице не находил и что я только отягчаю свою участь нежеланием дать чистосердечные показания, что меня сгноят в тюрьмах и т. д.

Я продолжал стоять на своем: я, мол, не знаю, почему никто таких газет не находил на улице, но со мной-то это случилось, и не могу же я сказать, что я не нашел этих номеров, если я их действительно нашел.

Евецкий раздражался все больше, но, видя, что он меня в этом пункте не собьет, стал продолжать допрос.

— На какой же улице вы нашли эту газету? спросил он меня с язвительной улыбкой.

Я назвал первую пришедшую мне на язык улицу —Андреевский спуск.

— В каком же именно месте Андреевского спуска попалась вам эта удивительная находка?

— За Андреевской церковью, по правой стороне, если итти к Подолу, на тротуаре, обстоятельно ответил я.

Видно было, что Евецкий не верит ни одному моему слову, но это мне и не было нужно: мне важно было только избежать вопросов, касающихся каких-нибудь отдельных личностей, от которых я мог получить „Народ“. И я своей цели достиг.

— Ну, запишите, сказал, пожав плечами, Евецкий.

— В каком виде вы нашли газету? вдруг спросил он, когда я еще не кончил записывать свое первое показание.

Я понял, что он хотел поймать меня, и ответил:

— Она была завернута в белую бумагу.

— А! разочарованно воскликнул Евецкий.

— Когда вы нашли газету, вы прочли ее?

— Конечно.

— Какое же вы вывели заключение?

— Да, действительно, вывел з а к л ю ч е н и е, мелькнуло у меня в голове, но вслух я ответил, что вывел заключение, что „Народ“—газета галицкая и никакого отношения к России не имеет.

Евецкий даже подпрыгнул на своем стуле.

— Как не имеет?! воскликнул он.

В самом деле, если бы „Народ“ совершенно не затрагивал русских отношений, то тяжесть моего „преступления“ значительно уменьшилась бы.

— Да, в тех номерах „Народа“, которые я нашел и прочел, нет ничего, относящегося к России, подтвердил я.

— А, вы это утверждаете!—заявил Евецкий.—В таком случае дело осложняется, и нам с вами вместе придется читать эти номера.

— Пожалуйста, ответил я.

Дело в том, что действительно в найденных у меня номерах „Народа“ случайно не было ни статей, ни заметок, ни корреспонденций, которые бы касались России.

Евецкий с видимым раздражением взял в руки один из номеров „Народа“ и с большим трудом (газета печаталась принятым в украинских изданиях правописанием —„і“ вместо „и“, „и“ вместо „ы“ и т. д.) стал разбирать заглавие первой же статьи.

— „Русь—кі пос—ли“, прочел он и с торжеством закричал:

— Как же вы говорите, что нет ничего, относящегося к России? А эта статья? Ведь она говорит о русских посланниках за границей.

— Вовсе нет, ответил я. — Здесь говорится о галицких депутатах в австрийском парламенте, рейхсрате. „Посол“ по-украински значит „депутат“.

— А почему же „руські“? спросил Евецкий.

— Потому что галицкие украинцы зовут себя „русинами“, откуда и прилагательное „руський“ (через одно „с“ и с мягким знаком).

— Гм! проворчал недоверчиво Евецкий и с большими усилиями стал разбирать, читая по складам и делая массу ошибок в произношении, самый текст статьи.

Понимал он, как это было ясно видно, далеко не все, но во всяком случае он не мог не видеть, что ни о каких „русских посланниках за границей“ в статье не было и помину.

С досадой Евецкий перешел к другим статьям, но там даже заглавие не могло ему дать точки опоры.

Наконец, он натолкнулся на одну заметку Драгоманова, о которой я совсем забыл и которая имела несомненное отношение к России. В заметке этой говорилось о происхождении надписи на памятнике Богдана Хмельницкого в Киеве „Богдану Хмельницкому единая неделимая Россия“.

Понятно, с каким торжеством накинулся Евецкий на заметку Драгоманова. Содержание заметки, которую

Евецкий прочел (по складам) вслух по-украински, а я перевел по-русски, сводилось к тому, что в комитете, выработавшем надпись о „единой неделимой России“, участвовало два видных украинца, проф, Б. Антонович и П. П. Чубинский.

Евецкий совсем растерялся: вместо доказательств „революционных замыслов“ украинцев в заметке находились доказательства их „благонадежности“...

Я, разумеется, не стал объяснять Евецкому истинный смысл заметки: Драгоманов хотел разоблачить оппортунизм „умеренных и аккуратных“ украинцев, явившихся противниками революционных стремлений Драгоманова и его сторонников.

Для Евецкого, конечно, все это было книгой за семью печатями: о различных течениях среди украинцев он и не подозревал. Гораздо более его был осведомлен ген. Новицкий: вспомним его слова об „украинофилах женевского типа“ (см. первую главу).

Поразительна была полная неосведомленность Евецкого в его специальном деле. Он приступил к допрашиванию меня, не потрудившись предварительно ознакомиться с тем, что у меня было найдено и что мне вменялось в вину.

Я всеми силами (разумеется, спокойно и хладнокровно) старался, выражаясь немножко грубо, „посадить в лужу“ моего инквизитора, чем разъярил его необычайно.

И вот, спросивши еще меня о моем знакомстве с Кистяковским и о том, почему у него оказался мой адрес (я рассказал о третейском суде), Евецкий решил немедленно отправить меня в тюрьму, хотя день склонялся уже к вечеру и можно было оставить меня в участке до следующего утра: уж очень хотелось Евецкому сейчас же сорвать свою злость на мне.

В тюрьме я пробыл около месяца (без книг, писем и свиданий) и через $1^1/_2$ месяца со дня ареста был освобожден под надзор полиции до приговора.

Приговор (конечно, административным порядком) последовал только через год с лишним: я должен был отбыть трехмесячное заключение в тюрьме.

Когда я его отбыл, меня киевский генерал-губернатор выслал из Киева на год.

О жизни в тюрьме как во время предварительного заключения, так и во время отбытия наказания я сейчас не буду говорить. Упомяну только, что во время вторичного пребывания на Лукьяновке (так называется киевская тюрьма) я познакомился с сидевшими там А. Г. Шлихтером и Л. М. Хинчуком.

III. Знакомство с марксизмом. Киевская социал-демократическая группа „Рабочее Дело". Первый съезд Рос. Соц.-Дем. Раб. Партии.

За тот год с небольшим (с половины сентября 1892 года до половины ноября 1893 года), который прошел со времени моего освобождения из предварительного заключения до начала отбывания наказания, произошла большая перемена в моем мировоззрении: из драгомановца-народника я стал марксистом.

Как это ни странно на первый взгляд, но основы этой перемены были заложены у меня той же литературной и политической деятельностью галицкой радикальной партии, которая, казалось, так была далека от марксизма и вдохновители которой (Драгоманов, Франко, Павлик), даже относились к марксизму с явной враждебностью. Но, как я уже упоминал выше, в своей борьбе с „угодой" публицистам „Народа" приходилось подчеркивать противоположность классовых интересов широких народных масс, с одной стороны, и „панов", — с другой, приходилось призывать вследствие этого к классовой борьбе и указывать на первостепенную важность „экономического фактора" (одна из обширных статей „Народа" в эту пору носила название „Жолудкові ідеї"—ответ узким националистам, упрекавшим ра-

дикалов в том, что они вместо идеальных речей выдвигают грубо-материальные, „желудочные“.

В связи с этим еще до своего ареста в 1892-м году я начал изучать политическую экономию; приходилось знакомиться и со статистикой (я даже читал в нашем кружке реферат на тему „Галиция в свете цифр“).

Но, конечно, от этих „основ“ было еще далеко до сознательного марксистского мировоззрения. Толчок в этом направлении дал мне и некоторым моим близким знакомым тот же Богдан Кистяковский, который когда-то способствовал моему превращению в драгомановца. В Юрьеве Кистяковский сблизился со студентами-поляками, придерживавшимися марксистских взглядов. Вероятно, при их посредстве он познакомился и с русской социал-демократической литературой (изданиями группы „Освобождение труда“). Таким образом, когда Кистяковский приехал в Киев летом 1892-го года, он уже был марксистом*).

Кистяковский был освобожден из предварительного заключения несколько позже меня. Когда я с ним встретился, он дал мне „Наши разногласия“ Плеханова, а потом и другие издания группы „Освобождение труда“. Вместе с тем он указал и некоторые польские марксистские издания, в которых особенно рекомендовал статьи Крживицкого. В числе польских книжек, какие я достал при посредстве Кистяковского, были и переводы немецких социал-демократических брошюр. Из них, я помню, особенно мне понравилась брошюра Шиппеля

---

*) Любопытна дальнейшая эволюция взглядов Кистяковского: в начале 900-х годов он был „освобожденцем“, при чем называл себя „социалистом-освобожденцем“ (это я сам слышал из его уст на одном собрании в Вологде, где мы жили одновременно с ним в ссылке), а потом участвовал в пресловутом сборнике „Вехи“ и стал кадетом.

об экономической эволюции, вернее, о промышленном перевороте, приведшем к новейшему капитализму и создавшем обостренную борьбу между капиталистами и пролетариями*).

От всех этих изданий я перешел к 1-му тому „Капитала“. Времени у меня было сравнительно мало (я готовился к государственным экзаменам, которые и выдержал весной 1893-го года, и продолжал заниматься уроками), поэтому с марксистской литературой я знакомился один или с одним—двумя товарищами и не входил ни в какой кружок, задававшийся целью изучения этой литературы. А такие кружки в это время в Киеве уже были. Один из них, в который входил, между прочим, недавно умерший Ив. Ад. Саммер, группировался вокруг того же Богдана Кистяковского. О других кружках этого времени, которые уже стремились к завязыванию связей с рабочими, я тогда не знал, но они существовали, как это видно из воспоминаний Б. Д. (Исторический сборник „Наша страна“. Б. Д. „К истории возникновения Р. С. Д. Р. партии“). Впрочем, один из этих кружков, как можно заключить из слов Б.. Д., имел также связь с Кистяковским: Б. Д. говорит, что этот кружок сделал перевод „Эрфуртской программы“, который был напечатан в Галиции, а мне известно, что печатание этого перевода в Галиции (в Коломые, где в то время жил Павлик) было устроено Кистяковским, благодаря его старым связям с галичанами.

Оживляется в то время и чисто-студенческая жизнь: организуются студенческие кружки, входящие в состав обще-студенческой кассы (конечно, тайной), начинает вновь функционировать припрятанная было на довольно продолжительный срок тайная студенческая библиотека.

*) Если не ошибаюсь, в польском переводе эта брошюра носит название „Zmiany ekonomiczne i rozwój mysli socyalistycznej“.

Во всей этой работе видную роль играют Ив. Ад. Саммер и Викт. Никол. Крохмаль.

Кассовые студенческие кружки являются в то же время и кружками самообразования. И там также начинается знакомство с марксизмом. Я получил возможность участвовать в одном из таких кружков только с осени 93-го года: по выдержании государственных экзаменов по историко-филологическому факультету весной 93-го года, я осенью снова поступил в университет (на юридический факультет). Но на этот раз пробыл я в университете очень недолго: 13-го ноября мне снова пришлось отправляться на Лукьяновку для отбытия наказания, а после отсидки, продолжавшейся 3 месяца, я был выслан из Киева на год, как я уже говорил.

Свою отсидку я, между прочим, использовал на усовершенствование в немецком и французском языках. По целым часам я сидел за своим железным столиком в камере и читал в немецком переводе „Отцов и детей“ Тургенева и „Персидские письма“ Монтескье по-французски. В результате я почти свободно читал на обоих языках, что мне очень пригодилось для дальнейшего изучения марксистской литературы.

До осени 1895-го года мне пришлось прожить в довольно глухой провинции (главным образом, в Виннице Под. губ.). К тому же большую часть этого времени я провел в крайне неблагоприятных условиях: я отбывал воинскую повинность, причем мое военное начальство, напуганное сообщением жандармов о необходимости подвергнуть меня тайному надзору, заставило меня жить в казармах вдали от города (Винницы), с разрешением только кратковременных отлучек по праздникам.

Конечно, и за это время я кое-что читал из марксистской литературы, насколько удавалось достать ее и улучшить время для чтения: приходилось ведь выполнять

всю солдатскую муштру от точки до точки. Пребывание в казарме, в близком общении с солдатами, дало мне возможность присмотреться ближе и к „народу“ и к тем порядкам, которые существовали в царской России. Я мог судить о них уже не только при свете теоретических соображений...

Осенью 1895-го года я вернулся в Киев и поспешил познакомиться со всеми новинками марксистской литературы (иногда „новинками“ только для меня). За время моего отсутствия появились в свет и „Критические заметки“ Струве, и „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю“ Бельтова, и различные статьи „легальных“ марксистов.

В Киеве я пробыл недолго. Той же осенью я переехал в Полтаву, где я получил место помощника секретаря губернской земской управы. Среди земского „третьего элемента“ я встретил близких мне по духу людей—Ив. Ад. Саммера, который тогда еще, впрочем, не окончательно определился, как марксист, и П. П. Румянцева. Большинство полтавских „третье-элементцев“, если можно так выразиться, принадлежало, однакоже, к другому лагерю: здесь были и российские народники, и украинофилы, и обломки тогда только что разгромленной партии „Народного права“. У нас образовалось нечто в роде клуба, где происходили жаркие дебаты между марксистами и народниками. Одним из поводов к таким дебатам послужил мой реферат о Драгоманове, в котором я, связывая направление Драгоманова, с одной стороны, с народническим социализмом, с другой—со стремлениями партии „Народного права“, доказывал, что и то и другое—утопия и что единственно революционный класс—пролетариат и что на работу среди этого класса должны быть направлены все усилия революционеров.

Впрочем, отношения наши с нашими идейными противниками были очень мирные, даже благодушные. Поспоривши, мы с одинаковым удовольствием слушали пение старого народника—украинца Рейдера. Особенно хорошо звучала у него дума, которую когда то очень любил Шевченко: „Ой зійшла зоря вечіровая, над Почаєвом стала“...

Были у нас сношения и с гимназической молодежью. Но, насколько я припоминаю, систематических занятий мы с ней не вели. Кое-что читалось вместе, бывало обсуждение прочитанного, но и здесь марксисты мирно встречались с народниками.

Совершенно иначе обстояло дело в Киеве, куда я время от времени наезжал на несколько дней из Полтавы. Здесь на довольно многолюдных студенческих вечеринках происходили настоящие (словесные, разумеется) сражения между народниками (будущими социалистами-революционерами) и марксистами (будущими и настоящими социал-демократами). Чувствовалось, что здесь дело идет не просто о выяснении известных теоретических положений, а о приобретении сторонников для определенной практической революционной работы. Здесь уже о благодушии не могло быть и речи. Главным содержанием дебатов служил вопрос об экономическом развитии России, о значении и судьбе общины, о расслоении крестьянства и т. д. Материал для дебатов давали, главным образом, статьи в легальных журналах. Но, разумеется, сейчас же выдвигался вопрос о роли революционеров. „Если вы видите прогресс в развитии капитализма“, говорили марксистам их противники, „то почему вы не открываете фабрик, заводов и даже кабаков?“ Народники и не подозревали, что они только повторяют слова Льва Тихомирова, на которые давным давно ответил Плеханов в „Наших раз-

ногласиях". — „Если вы признаете, что в деревне создается сельский пролетариат, то почему вы не идете в деревню, а предпочитаете работать среди городского промышленного пролетариата? Вы, значит, ждете, пока сельский пролетариат „выварится в фабричном котле"? был второй обычный „коварный" вопрос народников марксистам. Приходилось разъяснять, что все дело пока в недостатке сил и что никто такой нелепости, как „выварка" всего сельского пролетариата „в фабричном котле", не ожидает. А рядом с этими вопросами шли упреки, что, мол, марксисты радуются тем страданиям, какие несет капитализм, потому что они, ведь, считают капитализм прогрессивным явлением. На это марксисты отвечали напоминанием слов Спинозы: „Не плакать, не смеяться, а понимать".

Чаще всего мне приходилось слышать на этих собраниях в качестве оратора от народников Марка Бор. Ратнера; фамилий выступавших там марксистов я не помню. Во всяком случае никто из будущих моих товарищей по социал-демократической работе, мне помнится, на этих многолюдных студенческих вечеринках не выступал. Если это так, если память мне не изменяет, то здесь действовали соображения конспиративные.

Дело в том, что в это время тот социал-демократический кружок, в который я вошел позже, уже существовал и работал, и членам его конспиративность вменялась в особенную обязанность.

Членами этого кружка были и некоторые мои близкие знакомые, которые, однако, из тех же соображений конспирации только намеками давали мне знать, что они уже „от слов" перешли „к делу". Вместе с тем из этих слов было ясно, что если бы я жил в Киеве, то точно так же, как и они, мог бы из „марксиста" стать „социал-демократом".

Я, со своей стороны, находил, что для меня пришла уже пора от теории перейти к практике; в конце 1896-го года я переехал из Полтавы в Киев и вступил в в социал-демократическую группу „Рабочее Дело“ *).

Прежде, чем перейти к рассказу об этой группе, я позволю себе остановиться на вопросе, что мне дала в смысле мировоззрения моя предшествующая „Драгомановская“ школа. Прежде всего, я был и остался „политиком“: я не мог представить себе революционной борьбы без входящей в нее, как составной элемент, борьбы политической; поэтому я никогда не был „экономистом“ (в смысле направления „Рабочей Мысли“). Затем, я навсегда остался сторонником широкого местного самоуправления, видя в нем гарантию национальных прав, при чем эти национальные права я всегда рассматривал с точки зрения интересов широких народных масс, а не как нечто самодовлеющее (это именно точка зрения Драгоманова, всего ярче выраженная им в его произведении „Чудацькі думки про українську національну справу“). Мне казалось и кажется, что эти стороны моего мировоззрения, усвоенные мною в Драгомановской школе, нисколько не противоречат марксизму, так как не заключают в себе ничего шовинистического, узко-национального.

Замечу кстати, что, переставши быть драгомановцем, я все-таки не порвал окончательно с „украинством“: продолжал знакомство с Ник. Вас. Ковалевским, который, впрочем, очень не одобрял перемену в моем мировоззрении, встречался кое с кем из украинской молодежи (напр., Ив. Матв. Стешенком) и даже сотрудничал в галицкой радикальной печати (в 1896 году в

*) Решающее значение для меня лично имела стачка петербургских рабочих летом 1896 г., произведшая вообще сильное впечатление на близких мне полтавских марксистов.

журнале „Життя і слово“ появились мои воспоминания о только что отбытой мною воинской повинности).

Перехожу к рассказу о социал-демократической группе „Рабочее Дело“.

Группа состояла из небольшого количества интеллигентов, среди которых особенно выделялся Б. Л. Эйдельман. Б. Л. в те времена отличался своей силой воли, неутомимой энергией и большой требовательностью к себе и другим в том, что касалось нашей работы. Преданность его нашему делу была чрезвычайно велика; он только для него и жил. Немудрено поэтому, что он имел громадное влияние на группу „Рабочее Дело“ и фактически являлся ее главой.

Из других членов группы упомяну о Н. А. Вигдорчике, чрезвычайно талантливом авторе листков и газетных статей в газете „Вперед“, первый номер которой вышел в самом начале 1897-го года*).

Было и еще несколько очень выдающихся работников в нашей группе, искренно преданных делу и отдававших все свои силы пропагандистской работе в кружках среди рабочих и работниц.

Связи с рабочими как мелких мастерских, так и более крупных заводов были у нас по тому времени довольно значительные и все расширялись. В этом сказывалась довольно продолжительная предшествовавшая работа (уже в 1889-ом году среди киевских рабочих работал в социал-демократическом направлении доктор Абрамович). В начале 90-х г. очень большую роль сыграл в деле социал-демократической пропаганды рабочий Ювеналий Дм. Мельников. С Мельниковым работал и Эйдельман, который и в то время, о каком я говорю,

*) Н. А. Вигдорчик был также автором очень нравившейся рабочим брошюры „Как министр заботится о рабочих“ (по поводу циркуляра Витте фабричным инспекторам в 1896 г.).

имел наибольше связей среди рабочих и пользовался в рабочей среде большим авторитетом.

Как раз ко времени моего вступления в группу „Рабочее Дело“, группа решила соединить пропаганду агитацией, т. е. кружковую работу с выпуском листков к рабочим тех или других предприятий по всяким волновавшим их вопросам.

Для постоянного контакта с рабочими, в связи с с образованием новых кружков, выпуском и распространением прокламаций и т. д., был образован особый рабочий комитет из наиболее передовых рабочих. Это был уже „2-ой рабочий комитет“; первый, в котором главную роль играл Юв. Дм. Мельников, прекратил свое существование после ареста Мельникова весной 1896 года. В комитет входил и представитель группы.

В то время в Киеве действовала группа польских социал-демократов и группа, примыкавшая к п. п. с. (польской партии социалистической), но склонявшаяся к социал-демократическим взглядам. Между этими группами и группой „Рабочее Дело“ возникли переговоры о слиянии для объединения работы. Вопрос о языке не мог служить помехой: польских рабочих было не так много, а в специально-польских рабочих кружках, конечно, мог быть употребляем при пропаганде польский язык. Русский (или, если хотите, великорусский) национализм у нас совершенно отсутствовал.

Однако на первых порах переговоры о слиянии не привели ни к чему. Как это ни покажется странным в настоящее время, товарищи п. с.-д. и п. п. с. не находили возможным издание листков, которое мы считали насущной необходимостью. По их мнению, следовало пока ограничиться только занятиями в кружках, массовая же агитация, хотя бы в виде распространения листков, могла привести только к провалу и гибели

всего дела. Мы же, опираясь на пример петербургского „Союза борьбы за освобождение рабочего класса“, настаивали на необходимости непосредственно влиять на широкую рабочую массу, постоянно отзываясь на все волнующие ее вопросы. Слияние всех с.-д. групп Киева произошло только весной 1897 г. на почве именно нашей тактики, при чем наша соединенная организация приняла название „Киевский союз борьбы за освобождение рабочего класса“. Конечно, и в этом случае повлиял пример Петербурга.

На решение польских групп присоединиться к группе „Рабочее Дело“, несомненно, оказала влияние деятельность нашей группы с конца 1896-го года“: мы выпустили очень много прокламаций (сначала они писались печатными буквами и воспроизводились на гектографе, но вскоре мы приобрели ремингтон и мимеограф) *), нисколько не ослабляя своей пропагандистской работы. И это совершенно не повлекло за собой тех ужасных последствий, каких так опасались польские товарищи.

После образования „Киевского союза борьбы“ наша работа пошла еще более усиленным темпом: „союз“ распространил в 1897-ом году 6½ тысяч прокламаций на 25 фабриках и заводах, устраивал лекции по истории революционного движения в России и за границей (лекции устраивались летом 1897-го года в рощах в окрестностях Киева, при чем на лекциях бывало по 60—80 человек), издавал газету „Вперед“; в то же время продолжались и занятия в кружках. Но

*) Из конспирации мы называли ремингтон „пианино“; в соответствии с этим типография, о постановке которой мы тогда уже заботились, называлась у нас „роялем“. Отсюда кличка нашего печатника Альб. Дав. Поляка „роялист“ (ее употребляет Б. Д. в указанной выше статье).

„союз“ не ограничивался работой в Киеве. Напечатанная им (уже типографским способом) первомайская прокламация была распространена в ряде южных городов. Точно так же „союз“ способствовал распространению нелегальной литературы (ее „союз“ получал через Вильно) в Кременчуге, Николаеве, Екатеринославе и Одессе*).

В своем тактическом подходе к рабочим массам мы руководились здравым педагогическим правилом — от известного к неизвестному, от более доступного к менее доступному. Вследствие этого в наших прокламациях, обращенных к не затронутым еще нашей пропагандой и агитацией рабочим слоям, мы касались прежде всего экономической стороны положения рабочих, а затем переходили к освещению стороны политической. Если в столкновения между хозяевами и рабочими вмешивалась полиция или более высокое начальство, что случалось нередко, это давало рабочим наглядный политический урок, который мы, конечно, не упускали подробно разъяснять и обобщать.

Таким образом, это не был „экономизм“, это не было даже применение пресловутой теории „стадий“, несколько позже проповедывавшейся на страницах заграничного „Рабочего Дела“ Кричевским, Акимовым-Махновцем и др.: если конкретные условия давали возможность немедленно связывать „политику“ с „экономикой“ в наших выступлениях, мы это и делали, не ожидая, пока рабочие пройдут экономическую „стадию“ развития, мы только не хотели, чтобы фразы о необходимости политической свободы были пустыми фразами, лишенными жизненного содержания.

Рядом с агитацией, как я сказал, шла и пропаганда. Здесь мы старались подготовить сознательных агитаторов и пропагандистов из самой рабочей среды.

*) См. указанную выше статью Б. Д.

Тут, понятно, и речи не могло быть об игнорировании политического „момента“. Существовали кружки низшего и высшего типа, и, таким образом, являлась возможность создавать не верхоглядов, а действительно серьезно подготовленных работников.

Я лично принимал живое участие в кипучей деятельности „Союза“: я работал в кружках как низшего, так и высшего типа, читал лекции на более многолюдных рабочих собраниях (о них см. выше), был представителем „Союза“ в рабочем комитете*).

Влияли сначала группа „Рабочее Дело“ и польские группы, а затем „Союз“ и на студенческую молодежь. Из этой молодежи следует отметить Ан. Вас. Луначарского, Ник. Алек. Бердяева (одно время очень близкого с Луначарским), Конст. Прок. Василенка. Поворот Бердяева „от марксизма к идеализму“ произошел несколькими годами позже.

Нам приходилось, однако, встречать и противодействие в нашей деятельности.

К этому времени в Киеве организовалась уже группа социалистов-революционеров, в которой видную роль играли Дьяков (имя и отчество его я забыл) и Н. Н. Соколов. С.-р. оспаривали у нас даже влияние на более передовых рабочих. Главными пунктами их возражений против нашей „теории и практики“ были указания, что мы, мол, игнорируем крестьянство и общину, во-первых, и слишком мало уделяем внимания вопросу о политической борьбе, во-вторых. Рабочие, намеченные кандидатами в рабочий комитет, пожелали

*) Особенно удовлетворили меня занятия в одном кружке высшего типа: мы там читали вместе „Наши разногласия“ Плеханова, при чем беседы касались и истории революционного движения в России, и развития капитализма, и деятельности немецкой социал-демократии...

устроить диспут между нами и с.-р—ами. В этом диспуте участвовал и я. С.-р—ы обнаружили значительную путаницу в своих воззрениях. Так, я помню, Дьяков сказал, между прочим, такую фразу: „Мы следуем нашим учителям—Лаврову и Плеханову". Не трудно было указать, что „следовать" одновременно по двум противоположным дорогам нельзя. Мы одержали верх, и рабочий комитет остался с нами. Тем не менее с.-р—ы действовали на некоторую часть рабочих своей эмоциональностью, т. е. воздействием на чувство рабочих, тогда как мы обращались к их рассудку.

Другую чувствительную струнку затрагивал у рабочих, но тоже во вред нашей деятельности, основатель группы „Рабочее Знамя", рабочий из Белостока Моисей Лурье *). Это был, повидимому (я его мало знал), чрезвычайно энергичный и с сильной волей человек. Он, главным образом, упирал на необходимость независимости рабочих в их революционной организации от интеллигенции. Разумеется, конкретно у нас, в Киеве, такое требование независимости направлялось против „Союза", имевшего почти исключительно интеллигентский состав.

Противодействие нашей работе со стороны Лурье и его сторонников не нанесло ей, однакоже, особенно серьезного ущерба.

На ряду с местной работой „лидеры" группы „Рабочее Дело", главным образом, Б. Л. Эйдельман, уже в конце 1896-го и начале 1897-го года начали принимать участие в подготовке к объединению всех с.-д. групп России. Эта мысль возникала и в других центрах с.-д. работы и не могла не возникать, так как она подсказывалась самой жизнью: по мере того, как развивались

*) В будущем „Рабочее Знамя" организовало „Русскую социал-демократическую партию", просуществовавшую очень недолго.

отдельные с.-д. организации, чувствовалась настоятельная необходимость в руководящем и координирующем центре, в постановке общего печатного органа, в устройстве общей техники и, наконец, в надлежащей организации доставки нелегальной литературы из-за границы.

Были завязаны сношения с петербургским „Союзом борьбы за освобождение рабочего класса“ и с очень деятельной виленской еврейской с.-д. группой (зародышем „Бунда“). Налаживались связи и с другими известными Киеву с.-д. группами.

В марте 1897-го года в Киеве должен был состояться съезд или, как мы его называли из конспирации, „коллоквиум“, представителей петербургского „Союза борьбы“, московского „Союза“, иваново-вознесенской группы и, наконец, виленской группы вместе с представителями киевлян. На коллоквиум приехал, однако, только представитель петербургского „Союза“ (явился, правда, и московский представитель, но он не был допущен, так как не мог достаточно удостоверить свою личность). Состоялось только частное совещание, на котором присутствовали по одному делегату от трех киевских групп и петербургский делегат. Было решено, что организацию съезда возьмет на себя группа „Рабочей Газеты“ (о ней ниже), и был намечен порядок дня съезда: 1) Название партии, 2) Организация партии, 3) Газета, 4) Пропаганда и агитация. Делегаты должны были явиться на съезд с выработанными ответами на все эти вопросы и с императивными мандатами, т. е. без права отступать на съезде от решений своей организации — так велика была боязнь отдельных организаций за свою самостоятельность.

Что это за группа „Рабочей Газеты“, которая должна была организовать съезд? Это была все та же

наша группа „Рабочее Дело“, если не вся, то значительная ее часть. Дело в том, что мы решили—главным образом, Б. Л. Эйдельман и Н. А. Вигдорчик—поставить нашими силами общую для всех с.-д. организаций, общепартийную, можно было бы сказать, если бы уже существовала партия, газету. Дело было очень трудное (ведь нельзя было, прежде всего, такую газету издавать на гектографе или мимеографе, как издавался „Вперед“), но зато газета могла сделать очень много для создания партии, которого мы все так страстно желали. Так как дело требовало большой конспиративности, то в него и были посвящены только члены группы „Рабочее Дело“ (да и то не все), вполне спевшиеся друг с другом и доверявшие друг другу, как каждый самому себе.

С большими усилиями была поставлена типография на квартире одного из членов группы (разумеется, устранившегося после этого от всяких других нелегальных занятий), и там поселился без прописки и безвыходно наш печатник, Альб. Дав. Поляк. Первый номер „Рабочей Газеты“ вышел в августе 1897-го года. Помню то чувство торжества, которое охватило нас, когда мы увидели этот первый номер не местной уже, а общей с.-д. газеты, созданной нашими усилиями и клавшей первый камень в фундамент будущего здания нашей партии.

Первый номер „Раб. Газ.“ вышел довольно бледным; мы имели в виду серую рабочую массу и потому говорили слишком популярным языком, оставаясь большею частью на почве повседневных нужд рабочего класса. Тем не менее и в этом номере были статьи политического характера (между прочим, моя статья об избирательной реформе в Австрии, подчеркивавшая важность для пролетариата всеобщего избирательного права).

Группа „Рабочей Газеты“ вошла в сношения со всеми известными ей тогда с.-д. организациями с целью осуществления возложенной на нее задачи. И здесь главную тяжесть работы взял на себя Б. Л. Эйдельман. Он объезжал главные центры с.-д. работы, вступал в переговоры с местными организациями и т. д. К этому времени образуется „Бунд“, и Б. Л. ведет сношения относительно съезда уже с центральным комитетом „Бунда“, что, впрочем, не было сношениями с новыми людьми, так как в Ц. К. „Бунда“ вошли наиболее активные деятели виленской группы, давно уже хорошо знакомой Б. Л. В Екатеринославе происходит объединение местных с.-д. групп благодаря переехавшему туда члену киев. „Союза“ Каз. Ад. Петрусевичу (раньше видному члену польской с.-д. группы). Екатеринославская организация принимает имя „Екатеринославского союза борьбы за освобождение рабочего класса“. В Москве также после разгрома с.-д. организация возрождается под именем „Московского союза борьбы за освобождение рабочего класса“. Уже это одно тождество названий показывает приближающееся создание партии.

В декабре 1897-го года выходит при тех же условиях, что и первый, второй номер „Рабочей Газеты“, гораздо более яркий и определенный. В нем уже прямо и недвусмысленно говорится о необходимости объединения всех разрозненных с.-д. организаций в одну мощную социал-демократическую партию.

Еще раньше выхода второго номера мне было поручено, так как я по другому делу должен был побывать заграницей (меня просил Ник. Вас. Ковалевский съездить в Львов и передать кое-какие его порученья главарям радикальной партии Франку и Павлику), повидаться с группой „Освобождения труда“, узнать ее мнение о первом номере „Рабочей Газеты“ и попросить

сотрудничества членов группы в нашем органе. Надо сказать, что мы умышленно издали первый номер, не прибегая к литературной помощи идейных создателей русской социал-демократии, чтобы показать, что русская социал-демократия может держаться и собственными силами, что она не является эмигрантской затеей, как склонны были утверждать ее враги. Я виделся с Г. В. Плехановым, П. Б. Аксельродом, В. И. Засулич и Д. Кольцовым слишком короткое время, чтобы успеть подробно сговориться относительно всех волновавших нас вопросов. Во всяком случае, хотя я не встретил с их стороны особенного энтузиазма по отношению к нашим начинаниям, они в общем одобрили первый номер „Рабочей Газеты" и обещали свое сотрудничество. Я убедился, однако, что наши стремления идут, в то время, по крайней мере, не в одном направлении: тогда как мы хотели возможно больше сделать сейчас же для организации и развития самосознания русского рабочего класса, члены группы „Освобождения труда" (особенно Г. В. Плеханов) гораздо больше придавали значения выяснению теоретических основ марксизма (Плеханов был занят в то время своей полемикой с Струве по вопросу о свободе воли).

Обещание сотрудничества было исполнено: Плеханов прислал письмо, а Аксельрод и Кольцов—статьи, которые мы предназначили для третьего номера „Рабочей Газеты" (ко второму они уже опоздали). Но, к несчастью, весь материал для третьего номера был захвачен жандармами при аресте Эйдельмана и Поляка в марте 1898-го года в Екатеринославе, куда была перевезена наша типография. Тогда же погибла и отпечатанная уже очень удачная брошюра Вигдорчика „Новая победа рабочего класса" (по поводу закона 2-го июня 1897-го года).

Из тех с.-д. организаций, с которыми входила в сношения по поводу съезда группа „Рабочей Газеты“, отказалась послать делегата на съезд харьковская организация. Она мотивировала свой отказ тем, что, по ее мнению, создание партии преждевременно, что нужно, чтоб раньше окрепли местные организации и чтобы объединение совершилось естественно вокруг пока не существующего высоко стоящего в моральном отношении и авторитетного для других организаций центра.

Не была приглашена на съезд николаевская организация, так как группа „Рабочей Газеты“ считала ее мало конспиративной. Не получила приглашения на съезд и одесская организация, так как с ней наша группа не успела ознакомиться.

Кроме „Бунда“, из нерусских организаций была приглашена на съезд литовская с.-д. партия. Она согласилась делегировать своего представителя, но вследствие разгрома не могла этого сделать. Польская партия социалистическая (п. п. с.) поставила нам два условия своего участия в съезде: 1) чтобы будущая наша партия включила в свою программу требование отделения Польши от России и 2) чтобы наша партия отказалась иметь связь с другими партиями, кроме п. п. с., действующими на территории Польши и Литвы (разумелись „Бунд“ и литовская с.-д.). Конечно, эти условия не могли быть приняты.

Наконец, съезд был назначен на 1-е марта 1898-го года в Минске. Подыскание помещения для работ съезда и некоторых делегатов взял на себя „Бунд“.

Группа „Рабочей Газеты“ выбрала своими делегатами Б. Л. Эйдельмана и Н. А. Вигдорчика, киевский „Союз борьбы“ решил послать меня. Было предложено послать особого делегата и рабочему комитету при киевском „Союзе“. Рабочий комитет также остановил свой

выбор на мне (как говорилось выше, я был представителем „Союза“ в рабочем комитете). Я указал „Союзу“, что в таком случае необходимо от „Союза“ делегировать кого-либо другого. Но „Союз“ нашел возможным мое „совместительство“.

Выехали мы из Киева в разное время и разными дорогами (между прочим, чтобы сбить с толку жандармов, я поехал с товарной станции, заехал в Ромны к сестре, постарался, чтобы там видело меня побольше людей, а потом только уехал в Минск, сделавши вид, что возвращаюсь в Киев).

В Минске я остановился сначала в одной гостинице под выдуманным именем (паспортов не требовали) потом переехал в другую, где записался под другой фамилией.

По данной явке я разыскал бундовцев Александра (Кремера) и Глеба (Мучника), Эйдельман и Вигдорчик уже оказались налицо. Из старых знакомых встретил я еще там Петрусевича, делегированного екатеринославским „Союзом“.

Накануне официального открытия наших заседаний мы собрались для дружеской беседы в квартире Глеба. Настроение у нас было прекрасное: мы чувствовали, что собираемся сделать великое дело, и все были воодушевлены желанием сделать его возможно лучше. Таково, по крайней мере, было мое впечатление.

На другой день, 1-го марта, в 10 часов утра открылся съезд. Впрочем, такое торжественное выражение („открылся“) совсем неуместно: собрались мы в небольшой комнате, было всего 9 человек (бундовцы Александр, Глеб и Исаак, от „Рабочей Газеты“ Эйдельман и Вигдорчик, от петербургского „Союза“ Степан (Радченко), от Москвы—Александр Ванновский, от Екатери-

нослава—Петрусевич и от Киева—я) и—решительно никаких формальностей, никакой официальности... Не только „президиума“, но и председателя формально не было выбрано (не формальным председателем в нужных случаях был Эйдельман).

Секретарем я предложил выбрать Вигдорчика; на помощь к нему присоединили и меня. Впрочем, протоколов мы не вели (из конспиративных соображений); решили записывать только постановления.

Работа, несмотря на отсутствие формально выбранного председателя, велась дружно и деловито. Прежде всего решен был вопрос о необходимости создания партии. Разумеется, разногласий в ответе не было: иначе зачем бы мы приезжали на съезд?

Несколько больше времени ушло на определение названия партии. Были предложения назвать ее „русской“ и „российской“. Последнее предложение одержало верх на том основании, что партия должна объединить не только в тесном смысле слова русских рабочих, но и рабочих всех национальностей России.

Название „российской“ отстаивали особенно бундовцы; в том же смысле высказывался и я, так как я всегда стоял за объединение всего пролетариата всей России, но на основе полного равноправия, без предоставления какой бы то ни было части рабочего класса преобладающего значения.

Название партии „социал-демократической“ не встретило, конечно, возражений.

Было предложено включить также в название партии слово „рабочая“, но это предложение собрало только 4 голоса из 9-ти (слово „рабочая“ было включено только позже при составлении „Манифеста“, с согласия двух членов центрального комитета, оставшихся не арестованными после съезда).

Противники предложения исходили из нежелания создавать фикцию, обман: в партию пока входило очень незначительное количество рабочих.

После докладов с мест, при чем выяснилась полная солидарность членов съезда в вопросе о пропаганде и агитации (в том смысле, как мы решили этот вопрос в Киеве), началось обсуждение вопроса об организации партии. Был избран центральный комитет, в который вошли представители трех наиболее влиятельных организаций (Эйдельман от группы „Рабочей Газеты", Степан от петербургского „Союза борьбы" и Александр от „Бунда"). Во избежание давления центра на местные организации (которые должны были принять название „комитетов партии") было постановлено, что комитеты в местных делах вполне автономны и даже имеют право не исполнять постановлений Ц. К., однако, выясняя каждый раз причину неисполнения. „Бунд", в частности, признавался автономной организацией в делах, касающихся еврейского пролетариата.

„Рабочую Газету" было решено сделать общепартийным органом, поручивши дело ее издания центральному комитету.

Поднят был затем вопрос об отношении партии к заграничному „Союзу русских социал-демократов" во главе с группой „Освобождение труда". Было решено предложить „Союзу" стать заграничным комитетом партии и войти с ним в тесное общение.

Я предложил просить Г. В. Плеханова составить программу партии вместе с торжественной декларацией о ее возникновении. Однако это предложение было отклонено, так как петербургский делегат заявил, что у них, в Петербурге, есть возможность это сделать без таких затруднений, какие неизбежны при сношениях с заграницей. Оказалось, что мы имели в виду разные

вещи: я разумел именно программу, Степан и другие— „Манифест“.

Этим и закончились, в сущности, занятия съезда, продолжавшиеся три дня (1, 2 и 3 марта). Избранный нами Ц. К. в перерывах заседаний съезда уже совещался между собой о дальнейшей постановке работы.

Вечером 3 марта мы все собрались на прощальную вечеринку перед отъездом. Настроение у всех было приподнятое: мы чувствовали и сознавали, что положили начало великому делу объединения рабочего класса всей России в борьбе за светлое будущее, за социализм!

Скромный ужин, с пивом, сопровождался искренними тостами, пожеланиями успеха в дальнейшей борьбе... „Пусть вновь созданная партия не будет мертворожденным детищем!“—вот один из тостов, который, в сущности, был содержанием и всех остальных.

Я напомнил товарищам, что как раз в 1898 году оканчивается пятнадцатилетие со дня выхода в свет брошюры Плеханова „Социализм и политическая борьба“, положившей идейное начало русской социал-демократии, и предложил послать Г. В. наше приветствие. Предложение это было, конечно, принято.

С бодрой верой в наше дело уехали мы со съезда. Я по приезде в Киев сделал доклады в „Союзе“ и рабочем комитете. Решения съезда были вполне одобрены. Казалось, теперь пойдет работа еще лучше, еще успешнее, чем до сих пор.

Но всего через неделю после моего возвращения киевская организация была разгромлена.

В ночь с 11-го по 12-е марта были произведены массовые аресты. То же повторилось в Москве, Екатеринославе и других городах. В Москве был арестован Александр Ванновский, в Екатеринославе Петрусевич

и, что всего хуже, Эйдельман. Была захвачена там же наша типография и весь материал третьего номера „Рабочей Газеты“ вместе с А. Д. Поляком, как я упоминал уже выше.

Несколько позже были разгромлены и бундовцы. Тем не менее Александр успел напечатать „Манифест“, составленный Струве (тогда еще социал-демократом), и решения съезда.

Партия все-таки не могла начать жить, но она не была и мертворожденной. Хотя и не было партийного аппарата, но одно имя партии объединяло разрозненные до тех пор организации. Они уже не чувствовали себя чем-то отдельным, маленьким, жалким,—они сознавали, что они—часть великого целого, великого, если пока не в реальности, то в идее.

И потому первый съезд партии по праву считается начальным моментом ее существования.

И я с радостью и гордостью вспоминаю о том, что был его участником.